БИБЛИОТЕЧКА РАБОТНИЦЫ И КРЕСТЬЯНКИ

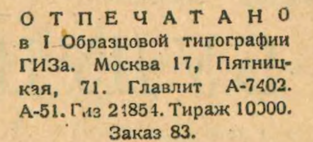
А. КОЛПИНСКАЯ

РАССКАЗ О БУДУЩЕМ





ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА * 1923 * ЛЕНИНГРАД


ОТПЕЧАТАНО
в I Образцовой типографии ГИЗа. Москва 17, Пятницкая, 71. Главлит А-7402. А-51. Гиз 21854. Тираж 10000.
Заказ 83.

I

Незадолго до Октябрьских праздников получила я письмо из родной деревни. Писала моя давнишняя подружка Марина, умница, сердечная и очень активная баба.

Просила приехать в деревню провести празднование, помочь ей в работе среди женщин.

Обещала сама за мной на станцию выехать и жаловалась на свое одиночество. Письмо было грустное.

Правду сказать, не очень-то мне хотелось как раз на праздники уезжать из города. Деревню, куда меня звала Марина, я знала наизусть; плохая была деревнюшка — глухая, сирая, неприютная.

Когда-то под боком у нее был богатый монастырь с пышно убранными церквами, жирными монахами, с богатыми приношениями.

Во время революции монастырь сгорел, но монахи уцелели и, как овод, осели деревню: шептали, вздыхали, пускали недобрые слухи, мутили народ и исподтишка спаивали его самогонкой.

Плохая была деревня, что и говорить, но не поехать туда было бы совсем уже стыдно.

И через два дня я тряслась на тяжелой телеге по широкой, исполосованной кривыми глубокими колеями дороге. Встретила меня сама Марина, облапила, обцеловала и теперь отводила душу разговорами, подгоняя в промежутках лошаденку,

— Ну, и рада ж я, что ты приехала вот как рада! — в десятый раз прервала она свои речи. — Так я тут измаялась одна, баб настоящих почти нету, ничего не вдолбишь, мужики еще хуже: на смех поднимают, а то и грозят: не мути баб, говорят, а то миром тебе порку устроим. Пакостники! — И Марина сплюнула в сторону. — И Сергея задразнили, говорят: жене поддался. Вчерась даже замахнулся ударить.

— Да ну! — ахнула я. — А ты что?

— Ну, я не таковская: бита не бывала и не буду. Сказала, что если пальцем тронет — разведусь в сей же час. Не тронул. Он у меня ведь сам ничего, другие науськали. Теперь стыдится, тебя вот и встречать не поехал, в глаза, небось, срамно глянуть.

Так вот почему Марина сама меня встречала!

— Как же мы празднованье-то организуем с такой публикой? — усомнилась я.

— Ничего, — успокоила меня Марина, — это выйдет. Главное, вот ты здесь. Из города, значит, приехала, а город они уважают, городское слово выслушают. И полюбопытствуют тоже посмотреть, небось, народу много будет. Ты не думай, бабы наши монахами обойдены, ну и мужиками поприпугнуты, а хорошие, горячие такие бабочки есть. Только бы им смелости набраться да правильных понятий, и такой женский актив подберем, что любо будет.

Марина долго и подробно рассказывала о своих бабах, о тяжелой доле деревенской

женщины, которую я и сама знала, да как-то позабыла, живя в большом городе.

Лошаденка, под разговор, пошла шагом, хлюпая копытами в лужах, то и дело заливавших колеи. Сбоку тянулся синеватый хвойник. Дул порывами сырой, пронизывающий ветер, и над самыми головами тоже как-то толчками двигалась низкая тяжелая туча.

Грустно становилось на сердце и от печальных рассказов Марины и от неприветливых, мрачных картин природы.

Усталая лошадь, замученная деревенская скотинка однолошадного бедняка, давно уже шла шагом, и нехватало духу подгонять ее. Вдобавок ко всему туча приостановилась, и точно ее сразу изрешетила какая-то невидимая рука снизу, вылила на поле, на лес и на нас дробный, обильный дождь. Вот тебе и раз!

Поздним вечером мокрые, посиневшие добрались мы, наконец, до Марининого двора.

В избе сквозь запотевшее окно желтым пятном мигал огонек. На крыльцо, заслы-

шав стук колес и фырканье обрадовавшейся стойлу лошаденки, вышел высокий худой мужик.

— Сергей,—крикнула ему Марина, — отворяй ворота-то, гостью привезла.

Сергей широко распахнул ворота и провел лошадь под уздцы к крыльцу.

— С приездом, Надежда Петровна!—бормотал он неловко, помогая мне выбраться из телеги.

— Здравствуйте, Сергей Тихоныч, живем?—спрашивала я, разминая онемевшие после неудобного сиденья ноги и ища рукою скобку двери.

— Живем, поживаем!—весело ответил Сергей любимой своей присказкой, видимо обрадованный тем, что я не хмурюсь.

„Может, Марина и не жаловалась", мелькнуло у него в голове.

— Пожалуйте в избу, девчонки там и самоварчик приспособили,—еще приветливее произнес он и повел лошадь под навес.

Марина, захватив мой чемоданчик, привычной рукой нащупала дверь.

— Ну, иди, гостьей будешь, — торжественно распахнув дверь, приглашала она меня.

В сенях стояла черная тьма, и я сразу точно ослепла.

— Сюда, сюда, да не споткнись на теленка, смотри!

— Ничего я не вижу! — жалобно взмолилась я. — Тьма кромешная, хоть бы спичечку, а то и вправду еще теленка задавлю.

— Ах, ты, горюшко мое! — донесся Маринин смех, и луч света упал из открытой двери.

Я вздохнула облегченно и вошла в избу.

— Тут тебе не Москва! — смеялась Марина. — А я привыкла, все наощупь знаю. Ну раздевайся, да и за самоварчик. Иззяблась, чай?

На столе весело мурлыкал самовар, две белобрысые девчонки с чисто промытыми рожицами и туго заплетенными хвостиками косичек, застенчиво поздоровались со мной, в углу на сундуке виднелись две головенки уснувших меньших, возле печки висела зыбка.

— Вот мое племя...— показывала Марина на ребят.

— Пятеро уже?

— Пятеро,— кивнула Марина,— ничего не поделаешь, рожаются. Да я детям рада, чего лучше; кабы вот ясли были, а то летом только поговорили и ничего не сделали, а без яслей трудно с ними-то.

На отсутствие яслей жаловались и другие бабы, которые понемногу, пока мы пили чай, набились в избу.

Приходили в темных тяжелых зипунах, большинство с грудным ребенком, замотанным в толстом платке. Шли, не смущаясь разразившимся упорным дождем, долго шушукались в сенях с Мариной, потом в избе задерживались у шестка и кончали тем, что подсаживались к столу поближе. Изба заполнялась быстро, на полу от мокрых сапог и юбок образовались лужицы грязной воды, становилось душно, пахло овчиной, потом, детскими пеленками. Изредка попискивал младенец, но матери щедро пихали в рот кто соску, кто грудь,

и пискнувший мгновенно, точно захлебнувшись, смолкал.

Марина оказалась права: хорошие бабы были на селе, но запуганы мужьями, замучены детьми, придавлены бедностью.

Сначала они робко слушали, о чем мы говорили с Мариной, потом стали вставлять свои словечки.

— Полы-то и стены мы вымоем...— уверила одна, когда заговорили об убранстве избы-читальни.

— А ребятки веток еловых натаскают, уберем лучше, как на тройцу,— вставила другая.

— У меня за божницей бессмертников много, девчонки летось насушили, вот Ильичевский портрет и уберем,— придумала молодая востроносая с большими голубыми глазами бабенка.

— А я скатерть шитую принесу,— предложила высокая со строгим лицом уже пожилая баба.

И все, точно обрадовавшись случаю прибрать, приукрасить свой праздник, вперебивку вносили предложения:

— Рябины нарвем, красиво будет!

— У Шурки в палисадничке георгины есть, она не откажет!

— Найдем, чего уж! Мы приберем...

— А флаги? — спохватились. — Надо побольше.

— Флаги я привезла с собой, и плакаты есть с картинками, — сообщила я.

— А покажь-ка! — запросили бабы в один голос. — Ну-ка, покажь!

Пришлось распаковать чемодан и вынуть то, что я захватила с собой: брошюрки, флаги, самый разнообразный ассортимент плакатов. К брошюркам, кроме Марины, да востроносой голубоглазки, отнеслись без внимания, но флаги и цветные плакаты, и особенно последние, пришлись бабам по душе.

— Ах, хороши, вот уж хороши! — ахали они над ними.

И мне стало радостно от оживления баб, от ярких красок и прекрасных обещаний, которые сулили плотные листы, с шуршанием развернутые мозолистыми руками.

— Гляди-ка, гляди! Вот так ребятенки...—умилялась одна над группой цветущих розовых младенцев, изображенных на плакате об уходе за детьми.

— А вот тебе садик какой!

— А вон поле с пчельником!

— А школа-то, школа, что дворец твой!

— Ну и красота!—опять вздыхали бабы.—Хоть бы денек пожить в красоте такой! И в комсомол бы записалась—не жалко.

— В комсомол-то тебя не примут, стара стала,—рассмеялась Марина.

— Ну? Тогда куды в другое место. Пожить бы так, повидать, коли не сказка...—горячо выговаривала высокая женщина, обещавшая на праздник шитую скатерть. И повернувшись к Марине, настойчиво спросила:

— А, не врешь?

— Ты это про что?—спросила Марина.

— Да вот про это про самое,—указала та на плакат, изображавший образцовую деревню.

— Это-то? — усмехнулась моя приятельница. — Да это теперь уже во многих деревнях так сделано. Это уже есть. А вот погоди немного, вот станут все грамотные, вот бабы-то поумнеют, то ли будет у нас. И не узнать станет, как сами будем, как ребяток вымоем да нарядим, получше барских. Власть теперь наша!

— То-то не наша, а мужиков наших, а нам, что было, то и осталось: детей качай, да белье стирай, да на поле спину гни, да на огороде коленки ломай! — страстно заговорила маленькая, серенькая, точно пылью земной присыпана, затрапезная бабенка, притулившаяся мышкой у дальнего оконца.

— Ну, и что ж? — орлом налетела на нее Марина. — Чья вина по-твоему?

— А чья?

— Наша, бабья! Всего боимся, монахов слушаемся да стариков, а сами и глаза зажмурили, чтобы не видать, не слыхать, что кругом нас делается. А если бы взялись за ум, да учились, да собирались почаще, да организовывались бы, какая

жизнь была бы! Запрету нам нету, власть наша, а и вина теперь наша!

Лицо Марины разгорелось. Она сразу помолодела и похорошела.

Бедная моя Марина! Ей только за тридцать перевалило, а выглядит она за сорок: щеки ввалились, поредели волосы, глаза глядели тоскливо и сколько морщин уже легло на милом ласковом лице.

А когда оживляется — снова прежняя русокудрая задорная певунья и хохотунья, какой я знала ее десять — двенадцать лет назад.

— Гляди, разжиреем от хорошей жизни, гладкими станем... — рассмеялась худая, как щепка, с ввалившимися черными глазами, все время молчавшая в уголке бабенка с ребенком у отвисшей груди.

„Молодая или старая?“ — задала я себе вопрос, глядя на нее.

„Старая,—решила я,—нет молодая, только больна, очевидно“.

Бабы пересмеивались, вышучивали Марину, она спорила и горячо доказывала возможности будущей прекрасной жизни,

жизни при социалистическом строе, когда женщина станет свободна и тоже прекрасна.

Вслушиваясь в разгоревшийся спор, я пристально вглядывалась в самих спорщиц. Мне казалось, что я вижу их впервые, или смотрю на них новыми глазами. Точно я не видала их раньше, не замечала их истощенных лиц, их согнутых, утративших всякую женственную форму фигур. Худые почти все, глаза ввалились и без блеска, руки и ноги палкообразные с жесткими искривленными ладонями, с широкой плоской ступней. Человеческие машины, износившиеся без отдыха и починки раньше срока. Сухие, бесцветные, морщинистые... Точно увядшие деревья, на краткий миг расцветшие и уже теряющие листья под непрестанным веянием суровой осени. Они слабо убеждались Марииными речами и недоверчиво улыбались на ее доводы. Изредка вспыхнет искорка в глазах, иногда сорвется вздох, почти стон:

— Хорошо бы! Уж чего лучше-то! — И снова серые лица кругом.

Мне страстно захотелось оживить этих женщин, зажечь их глаза тем же огнем, которым горели глаза Марины, увидать эти лица такими же помолодевшими и похорошевшими, как и Марина.

Где-то под самым окном закукарекал и захлопал крыльями петух. И тотчас же, точно он только и ждал этого своеобразного боя часов, заплакал в зыбке Маринин ребенок.

— Батюшки! До петухов досиделись! — всполошились бабы и, точно стая вспугнутых птиц, затрепыхались, укутывая ребят и натягивая на головы темные широкие платки.

В несколько минут изба опустела. Умолк у материнской теплой груди ребенок. С печи стал слышен храп давно уже взобравшегося туда и крепко уснувшего под бабий гомон Сергея.

— Полуношницы мы! — смеялась шопотком Марина, осторожно отводя от груди уснувшего ребенка.

— Пора и нам, неугомонным, на покой, — и, положив снова в зыбку ребенка, стала

стелить мне постель на кровати за печкой.

Утомленная дорогой и разговорами, я быстро заснула под храп Сергея, посапывание ребятишек да равномерное дробное постукивание дождевых капель в оконце.

„Что я завтра им скажу?“ — было последней сознательной моей мыслью.

II

— Вставай! Ну, вставай же! — слышала я чей-то ласковый знакомый голос и с трудом раскрыла слипавшиеся глаза.

Надо мной склонилась красивая голубоглазая белокурая женщина и со смехом трясла меня за плечо.

— Да проснись же! Ну и заспалась же ты, с дороги что ли! Пора, пора, этак ты и праздник проспишь!

Я с недоумением смотрела перед собой. Солнце вливалось в огромные светлые окна просторной голубой комнаты; прекрасная, веселая женщина глядела на меня, улыбаясь и покачивая головой.

— Хороша! Нечего сказать! — произнесла она ласковым знакомым голосом.

— Марина... Это ты? — напрягая свою точно уснувшую память, выговорила я.

— Как будто она! — расхохоталась моя приятельница.

— Где мы? — спросила я, с изумлением оглядываясь вокруг.

— Как это где? — в свою очередь изумилась Марина. — У меня, конечно, со вчерашнего вечера у меня. А тебе что, все еще поезд чудится? Ну и соня! Вставай, а то и праздник проспишь.

— Праздник?.. Да, да, теперь вспоминаю, я ведь к тебе приехала на праздник, на годовщину...

— Десятая годовщина коммунистической революции! А, каково? — гордо подтвердила Марина.

— Нет, скажи, думала ли ты двадцать лет тому назад, что мы доживем до этого дня! И гляди, день-то какой удался, на славу! Теперь вставай, там тебя девчонки ждут не дождутся, полезай в ванну, я уж и воду тебе налила, а потом иди завтра-

кать. Скорее! Скорее! — И она вихрем вылетела из комнаты.

Плескаясь в теплой воде ванны, одеваясь и причесываясь, я все время мучительно напрягала мозг, стараясь что-то припомнить, как-то связать то, что я видела сейчас вокруг себя, все такое нарядное, удобное, с тем, к чему я привыкла, но что никак не могла припомнить. Я сжимала голову обеими руками, точно это могло помочь мне, но кроме твердого сознания того, что я у Марины, и что я действительно приехала к ней вчера на праздник, ничего не могла вытащить из моей точно опустевшей головы.

— Оделась уже? Иди сюда завтракать! — звала меня Марина из соседней комнаты.

— Ничего не поделаешь, вспомню потом, — решительно тряхнула я головой и пошла на зов.

За большим белым столом сидели высокий широкоплечий мужчина в свободной бархатной блузе и четверо розовых, пышущих здоровьем ребятишек разного возраста

Две белокурые, как мать, девочки одновременно кинулись мне на шею.

— Наконец-то! Мы ведь вас вчера совсем и не видели, а теперь нам уже пора на сбор в школу... Скорее, скорее расскажите, как будут праздновать в Москве? — кричали они наперебой.

— Оставьте ее в покое, дайте поесть, потом расскажет, — вступилась Марина.

— Потом не интересно, тогда мы сами на экране все увидим... — запротестовала одна из девочек.

— А будут детей на аэропланах катать? — спрашивала другая.

— Будут, будут! — ответил за меня высокий мужчина. — Каждый год катают, а теперь ведь десятилетие, — успокаивал он их.

— Это Сергей! — ахнула я, узнав голос, и какое-то смутное воспоминание прошло в моей памяти. Мелькнуло и исчезло, точно тень на ходу.

— А вы неужели не узнали? — засмеялся муж Марины, крепко пожимая мне руку.

Я смутилась.

— Вы так великолепно поправились, — пыталась я выйти из неловкого положения.

— Разве? Это потому, что я недавно из Ливадии вернулся.

— Из Ливадии? Вы что, лечились?

— Нет, просто отдыхал. Пахоту и сев закончили, и весь наш отряд уехал, кто куда. Я в Крым, в Ливадию, очень уж я ее люблю. Вот после сбора урожая я предпочитаю в городе отпуск проводить: походишь по театрам, по музеям, как-то освежишься.

Я вспомнила Ливадию, крестьянский курорт из бывшего царского дворца, но многое в словах Сергея мне было непонятно.

— А ты тоже в Ливадию ездишь? Или же в город с ним? — спросила я у Марины.

— Нет, я люблю одна. Мы с ним и так остальное время все вместе. Я люблю новые места; хочется, пока еще не состарилась, свет поглядеть.

— Она бродяжит у меня. До Всеобщей революции по нашему Союзу каталась,

а теперь уже три раза в европейских союзах побывала, — смеялся Сергей.

— Ну что же? Разве это плохо? Сколько увидела, сколько узнала! Вот в прошлом году никуда не ездила: маленький задержал, кормила. А в этом году могу уже его оставить и поеду в Италию, непременно.

— А мы? — запищали дети в один голос.

— А вы? Вы, ребятки, как всегда, со школой, с Домом ребенка.

— Нам надоело, как всегда, — запротестовали старшие девочки, — нам тоже хочется в Италию!

— Вырастете и вы поедете, куда захотите, а теперь вам пора на демонстрацию. Живо!

Марина торопила ребят, усердно пичкала меня молоком, булочками и какими-то особенными сырами.

— Как вкусно! — похвалила я, отправляя в рот кусок за куском.

— Правда? — обрадовалась Марина. — Это у нас своя теперь сыроварня, и такие

сыры выделывают, лучше французских. В прошлый твой приезд ее не было.

— Не было,— машинально подтвердила я, и на мгновенье в моей памяти встала картина темных сеней с тощим теленком на полу.

— Не было,— тверже ответила я и спросила,— а где же сыроварня и... и... теленок?

— Теленок?— подняла вверх брови Марина.— О каком ты это теленке?

— Нет, я про сыроварню...— смутилась я.— Где это ваша сыроварня?

— Да там же, где все молочное хозяйство коммуны, на лугах,— ответила Марина и взглянула на Сергея, а потом на меня.

Я чувствовала, что говорю невпопад, что, пока я спала, что-то произошло, чего я никак не могу понять.

Я потерла себе лоб и умоляюще взглянула на Марину.

— У тебя такой усталый вид,— сказала мне ласково моя подруга,— вероятно ты слишком много работаешь?

— Да, я устала, что-то голова тяжелая. Ты не обращай внимания, это пройдет,— храбрилась я в ответ на озабоченный взгляд Марины.

— Все там же работаете? — спросил Сергей, вставая из-за стола и снимая младших ребятишек с высоких креслиц.

— Все там же: ликвидирую безграмотность, — машинально ответила я.

— Что??! — воскликнули в один голос и Сергей, и Марина, и обе старшие девочки.

— Откуда у тебя безграмотные? — спросила Марина.

— Как откуда? — в свою очередь спросила я и растерянно глянула на группу изумленных моих приятелей. — „Почему они так поражены, разве нет больше безграмотных?" — думала я, напрягая свою память. И чем больше я напрягала, тем яснее мне становилось, что правы они, эти красивые, нарядные, на редкость здоровые люди, что не может быть безграмотности там, где живут такие люди, иначе они не были бы такими.

Но как это сделалось? Почему это так?— Я ничего не понимала и ничего не могла вспомнить. Одно было ясно: пока я спала, произошло что-то важное, протекло, вероятно, много лет. Когда-то я читала об этом в книгах. Возможно ли, чтобы и со мной случилось что-нибудь подобное?

Голос Сергея прервал мои размышления.

— Понимаю, это кто-нибудь из Америки: я как-то читал на-днях, что там на юге до сих пор попадаются люди, не знающие ни письма, ни чтения. Но как же, на каком языке вы с ними занимаетесь?

Я не знала, что отвечать, но на мое счастье раздались громкие звуки музыки, и дети всполошились.

— Призыв! Призыв!—кричали восторженно они и через минуту умчались из дому.

— Как ветер летят!—смеялась Марина, глядя в окно.

— Лишь бы они маленьких довели до Сада,—озабоченно сказал Сергей.

Я тоже взглянула в окно, которое Марина широко распахнула.

Роскошный, цветущий и благоухающий сад тянулся от дома, казалось, без конца вдаль. По дорожкам, усыпанным крупным белым песком, бежали дети группами и в одиночку в светлых платьях и ярких шапочках. Я вгляделась попристальней и заметила в глубине этого бесконечного сада домики, разбросанные в разных направлениях, из которых со смехом и криком выбегали дети.

— Ну, пора и нам, а то запоздаем, — сказала Марина.

— Раскрой дверцу! — скомандовала она, подходя к стене.

Я увидела небольшую дверцу сбоку от окна, открыла ее и в пустом углублении стены увидела полку. Марина сложила на нее пустую посуду, нажала кнопку, и полка немедленно поползла вниз.

— Кто же ее вымоет? — удивилась я.

— Машина, — ответила Марина, — а кому же больше?

— И часто машина моет посуду?

— Какая ты смешная! Всегда моет. — Раньше, помнишь, только мыла, а теперь

как раз к юбилею во всех домах установили новые, которые моют и посуду, и белье, и сушат, и гладят все сразу. Очень удобно! Ну идем!

И через минуту мы очутились на улице или в саду — сразу я не могла разобрать. Широкая дорога — блестящая и гладкая шла вдоль рядов небольших домов, светлых, нарядных.

По сторонам дороги аллеей тянулись громадные, гигантские развесистые липы; и всюду — между домами, вдоль проулков, куда ни кинешь взгляд, то одиночками, то группами стояли чудесные, громадные, обильно цветущие деревья. Приглядевшись, я стала узнавать яблони, груши, вишни и, к великому моему изумлению, южные фруктовые деревья: персики, абрикосы, миндаль.

— Марина,— не выдержала я,— откуда все эти деревья?

Моя подруга участливо посмотрела на меня.

— Какие эти?

— Да вот персики... и миндаль...

— Не знаю; говорят, раньше их у нас не было, но с каких пор они у нас привились, не могу тебе сказать. Давно уже.

— Давно?..—почти испугалась я и запнулась, заметив удивление Марины.

— Что с тобой, не шутя? Ты какая-то странная, рассеянная... Здорова ли?

Я смутилась.

— Мне и вправду не по себе: голова тяжелая, и я все что-то должна вспомнить, сама не знаю, что со мной, точно я что-то забыла.

— Ты, вероятно жестоко переутомилась,—заботливо ответила Марина,—а тут еще эти дни такая жара. Тебе надо скорее уехать на укрепляющую станцию. Как это ты умудрилась довести себя до этого? Сейчас же после праздника уезжай, а то влетит.

— За что влетит?—изумилась я.

— За то, что работаешь в состоянии переутомления. Разве такая работа годится? Ты что, забыла прошлогодний закон, запрещающий работу при переутомлении? Поскорей уезжай на станцию.

— На какую же станцию мне ехать?

— А это тебе в комиссии скажут. Я бы советовала морскую. Иным помогает горная. Это по вкусу.

Звуки музыки все нарастали; казалось, что каждый куст, каждое дерево пели. Это были чудесные, мощные звуки, бодрые, радостные, но мотив был мне незнакомый.

— Что за дивная музыка! — воскликнула я.

— Не правда ли? Видишь, и у нас в деревне громкоговорители не хуже Москвы. Это — тоже подарок города к празднику.

— Так это радио? — изумилась я.

— Конечно, посмотри! — И Марина указала мне на верхушку ветвистой липы, стоявшей на перекрестке двух аллей.

Я всмотрелась в дерево и увидела вверху на стволе прикрепленную небольшую, окрашенную под цвет дерева воронку громкоговорителя.

— И это на каждом дереве?! Вот почему точно деревья поют!

— Нет, зачем на каждом, но на всех перекрестках, чтобы везде было слышно, —

объяснила Марина, — ну, сюда теперь вправо. Скорей, если хочешь увидеть процессию.

Свернув в указанном направлении, мы очутились на широчайшей аллее, очевидно, главном проспекте „деревни“. Как странно было называть деревней такое великолепное соединение прекрасных домов и пышного сада, какое никогда не приходилось мне видеть на самых лучших, самых шикарных курортах. По обеим сторонам этой главной аллеи тянулись общественные здания: „Школа“, „Коммунальное хозяйство“, „Библиотека“, „Дом гимнастики“ — читала торопливо, проходя мимо с Мариной. Перед домами по краям аллеи были установлены резные деревянные трибуны, на которых рассаживались граждане, не принимавшие участия в самой процессии.

Это были главным образом пожилые люди и иногда молодые женщины, как Марина. Мужчин было очень мало, детей и подростков я не заметила ни одного.

— А где же дети? — спросила я, — и мужчин так мало... Почему это?

Марина снова недоуменно посмотрела на меня:

— Да ведь все же участвуют в процессии! Мы с тобой только потому здесь, что у меня не совсем еще окрепла нога, а ты приезжая.

— Что у тебя с ногой? — спросила я, поняв, что только старые и хворые не принимают участия в процессии, и решив не задавать слишком много вопросов, чтобы не поражать Марину своим невежеством.

— Я на гимнастике растянула себе щиколотку. Теперь уже не хромаю, но все же хожу мало.

— А твои дети тоже все в процессии?

— Кроме грудного; тот, конечно, в Доме ребенка. Я тебе укажу их в процессии.

— А муж?

— Он со своим отделом.

— Ах, да, — притворилась я понимающей, — ты и его мне покажи.

— Покажу. Да вот, смотри уже начинается: процессия выступила из Дворца труда.

И Марина указала мне на силуэт огромного сквозного, все из лестниц и крыльев, здания, в которое как бы упиралась аллея.

У подножья его шевелилась пестрая, блестящая на солнце лента людей и знамен. Лента эта постепенно развертывалась и плыла с мерным колыханием вдоль аллеи, медленно подвигаясь по направлению к трибунам. Впереди важно, перебирая толстыми ножками, шли малыши детского сада в белоснежных свободных платьицах и маленьких цветных шапочках на голове. Вид у малышей был необыкновенно серьезный, и шаг они держали превосходно. За ними двигались школьники в ярких блузах, с обнаженными руками, ногами и головой, пышущие здоровьем и весельем. Две белокурые розовые девочки, проходя мимо трибуны, помахали нам рукой.

— Вот и мои девочки! — с гордостью указала мне на них мать.

— А младшие?

— Они уже прошли с детским садом; вон те двое с краю. Ужасно важничают: в этом году первый раз еще в процессии.

Я, не отрываясь, глядела на развертывавшийся передо мною поток людей. За детьми шли подростки, за подростками юноши и девушки в цветных, богато украшенных узорами тельниках и коротких трусиках. Дальше тянулись плотные ряды мускулистых, загорелых, крепких, точно отлитых из меди, работников и работниц земли.

Предо мною как будто в *волшебном* сне проходили каждый со своими знаменами, на которых были изображены орудия их труда: сеятели, жнецы, дровосеки, огородники, со всеми их подотделами, птичницы, каждая с эмблемой той породы, разведением которой занимались, садовники и цветочницы разных секций, мельники, лесники и многие другие, точного рода работы которых я не могла определить, и не имела времени расспросить о них Марину.

— Вот и мой отдел! — закричала мне Марина, указывая на группу женщин в белоснежных одеждах, на знамени которых был изображен какой-то мне неизвестный прибор из блестящего металла.

— Это что же за отдел? — спросила я.

— Доильщицы, — ответила Марина, оживленно кивая головой и улыбаясь приветствовавшим ее подругам.

— А вот наши поильцы-кормильцы, — указала она на группу мужчин и женщин в оригинальных клеенчатых фартуках и таких же шапочках, с краткой надписью на знамени: „Питание".

— Кто это такие? — спросила я у Марины.

— Отдел питания, — ответила Марина, снова задерживая на моем лице озабоченный взгляд, — наш кормилец. Откуда же, ты полагаешь, у нас сегодняшний завтрак? Они его сготовили, они его доставили, они же и заберут обратно термосы *).

— Значит и завтраки, и обеды, и ужины — все это вы получаете на дому и даже в горячем виде? Как это удобно! — воскликнула я.

— Да как же иначе? Ведь и у вас в Москве... ах, нет! Я и забыла, что у вас

---

*) Особые сосуды, в которых пища сохраняется горячей.

там теперь в каждом доме своя столовая. Но у нас нет ведь таких гигантов-домов, у нас все особнячки. Кстати, ты не знаешь, как разрешен этот бесконечный спор о преимуществе того или иного типа жилищ?

— Не знаю, — ответила я, пристально вглядываясь в новую группу, составленную из машин и орудий всевозможных видов и размеров.

Некоторые из них я знала.

Вот плуг, вот соха... „Неужели и здесь еще жива соха? — удивилась я, — и какая же она древняя!" А вот борона, коса, веялка, вот трактор, вот молотилка, а вот все новые и новые машины с колесами, зубцами, лезвиями, трубами, лесенками, мне совсем неведомые, назначения которых я никак не могу понять.

— Гляди-ка, гляди! — дергала меня Марина, указывая на соху и заливаясь смехом, — эта как ее... соха! Какую древность вытащили. И подумать только, что ею когда-то наши прадеды обрабатывали землю! Сегодня весь сельскохозяйственный музей выставили.

Я с мучительным усилием потерла себе лоб... Она говорит о прадедах, но ведь я сама видела, правда, еще до революции, в тех же Волчках соху, почетно лежащую во дворе хозяина. Правда, были плуги, а с революцией начали появляться даже тракторы, но первые годы кое-где в глуши соха работала. А вот эти машины... Что они такое? Мне неловко было спросить Марину. „Увижу вечером Сергея, поговорю с ним о пахоте, все узнаю!“ — решила я.

„Но что же все это? Что случилось? Что я забыла и почему так много мне непонятного?“

Снова мучительно встали в моей голове какие-то туманные воспоминания.

— О чем это ты так задумалась? — ласково спросила меня Марина.

— Так, вообще... О прошлом... Скажи мне, эта процессия, где она заканчивается?

— Ну, у нас линия движения короткая: из Дворца труда в Дворец празднеств. Там собственно и будет празднование.

— Мы пойдем туда?

— А куда же? Сейчас начнется официальная часть празднования, потом пойдем домой обедать, а затем художественная часть праздника, кто куда хочет, в любой зал: кто в музыкальный, кто в театральный, кто в спортивный, как всегда. Ты куда хочешь?

— Я с тобой,—торопливо ответила я.

— А я с тобой,—рассмеялась Марина.—Обойдем по очереди. Если хочешь, начнем с детского творчества: ужасно я люблю этот зал.

— Великолепно! Начнем с него. Но ведь это после обеда, а сейчас куда?

И мне неудержимо захотелось ходить, двигаться, смотреть на всю эту красоту, так необъяснимо окружавшую меня со всех сторон.

Я чувствовала себя необычно легко, радостно. Хотелось петь, смеяться, обнять весь мир.

Марина улыбнулась, глядя на меня.

— Как я рада, ты снова молодцом. Идем сейчас во Дворец празднеств, но по дороге завернем в Дом ребенка, хочется по-

смотреть на маленького, я сегодня отнесла его очень рано; да, пожалуй, и покормить его пора. На празднование мы не опоздаем: пока процессия дойдет, ведь детишки очень задерживают темп, да пока они все там распределятся — времени пройдет не мало. Это тебе деревня, не Москва, у нас все медлительно.

Я улыбнулась привычной фразе: „это тебе деревня, не Москва".

— Ну что же, идем в Дом ребенка, я кстати погляжу на маленького, — обрадованно согласилась я.

И как только последние ряды процессии прошли трибуны, мы спустились вниз и торопливо зашагали по одной из боковых аллей к Дому ребенка.

Большое широкое здание весело глянуло на нас из-за мохнатых елей, окружавших его густой ароматной изгородью.

В просторной приемной зале мы переменили нашу обувь на легкие туфли, вымыли руки теплой водой и одели поверх платьев белые клеенчатые халаты.

— В отдел яслей,— сказала Марина дежурной, и мы вошли через одну из стеклянных дверей в длинный, весь из голубоватого, необычайно прозрачного стекла, зал.

Белые продолговатые колыбельки стояли в два ряда посреди зала на высоких подставках из лакированного дерева. К одной из колыбелек Марина подвела меня. Розовый младенец только что проснулся в ней и потягивался всеми своими крошечными членами.

— Вот он самый! Хорош?

— Очень хорош,— искренно ответила я. Мне еще не приходилось видеть такого великолепного экземпляра грудного младенца.

Марина осторожно вынула ребенка из колыбельки и прошла в соседнюю комнату для кормления, а я стала переходить от колыбельки к колыбельке, любуясь на ребятишек. Маринин младенец вовсе не был исключением. Черноволосые и белокурые малыши — все были одинаково свежи, спокойны и розовы. Кой-кто спал, иные

потягивались, иные, широко раскрыв глаза, смотрели перед собой и улыбались. Тишина, голубоватый свет, легкие ажурные колыбельки — все это говорило о новой, молодой жизни, которая вот здесь раскрывалась, как нежные весенние почки молодых растений.

Ни одна пылинка не проникала в кружевную ткань крохотных легких, ни один резкий звук не потрясал тончайшие нервные ткани начинающих жить человечков.

Вот почему так здоровы и крепки, так жизнерадостны дети, которых мы видели в процессии!

III

Когда Марина кончила кормить, мы оставили стеклянный дом за зелеными хвоями, для Дворца празднеств.

На широкой площади — поляне, усеянной самыми разнообразными цветами, стоял Дворец, опоясанный тройным рядом белоснежных колонн, поддерживавших голубой блестящий на солнце купол. Отлогие лестницы с широкими ступенями, распо-

ложенные между колонн, вели во внутренние залы дворца. В центре здания помещался самый большой зал, служивший обычно для собраний. В нем на деревянных, полированных скамьях, расположенных амфитеатром, уселись участники процессии вперемежку с остальными гражданами. Только для школьников были отведены самые близкие к трибуне места, чтобы им было виднее и слышнее.

— А где маленькие? — спросила я Марину, когда мы уселись на одной из боковых скамеек.

— Они принимают участие только в процессии, но на официальном праздновании не бывают. Им ведь не все понятно, да и устанут они.

— Куда же они ушли?

— К себе, в Дом ребенка, где мы только что были, в отделение детского сада. Сейчас у них там второй завтрак, а потом будет свой праздник — детский. Я иногда бываю на этих праздниках, но сегодня предпочитаю оставаться здесь. И потом будет выступать сам старик Лев!

— Он самый? Тот, который... — И я остановилась, ожидая, что Марина доскажет фразу, и я без всяких позорящих меня вопросов узнаю, кто этот знаменитый Лев.

— Ну да, участник последних боев,— подтвердила Марина, не подозревая моей хитрости.

— Сколько же ему должно быть лет? — спросила я.

— Не знаю точно. Бои ведь шли с большими перерывами, в разных странах: лет семьдесят будет.

— Это не так уже много,— согласилась и я,— пожалуй есть и еще такие же очевидцы?

— У нас в деревне только он остался. Бои ведь шли главным образом у тогдашних границ и со стороны нашего Союза небольшие, не то, что в остальной Европе, где многие еще не были организованы в советы. Из нашей деревни ушло, говорят, человек двадцать и вернулись немногие. За это время перемерли некоторые, и осталось только двое: один сейчас болен,

лечится на Средиземном море, а Лев у нас. Ты его никогда не слыхала?

— Никогда, — вполне искренно ответила я.

— Как он говорит! — воскликнула Марина, — вот удачно ты попала к нам сегодня! У вас и свои, конечно, есть, но он наш, деревенский, и помнит времена старой деревни, когда работал еще трактор. Подумай только, его отец еще плугом пахал!

„Подумаешь, велика заслуга, небось я видела, как сохой землю драли", подумала я про себя, но благоразумно умолчала.

Круглый, со стеклянным куполом вверху зал был полон до отказа. На трибуну, за которой виднелось широкое, свободное пространство, заключенное в темную раму, медленно поднялась группа из нескольких человек.

Музыка внезапно стихла, и весь зал затаил дыхание.

Из группы отделился один высокий белый старик и громким голосом произнес:

— Товарищи! Дети свободной Европы! Приветствуем праздник великого освобождения народов!

Оглушительный взрыв рукоплесканий ответил на его слова. Все встали, и, казалось, зал затрясся на своем основании.

Старик величавым жестом поднял руку, и зал замер, и тишина казалась еще разительней после такого грохота.

— Споем старый боевой гимн!

У меня дрогнули колени и слезы сдавили дыхание, когда я услышала такие знакомые, такие близкие звуки „Интернационала"...

Весь зал пел. Голоса детей и женщин серебряной нитью сливались с мощными низкими голосами мужчин. Никогда в жизни я не слыхала таких прекрасных голосов, такого гармоничного пения.

Когда отзвучала последняя нота, старик снова поднял руку.

— А теперь гимн победы!

И дрогнули стены от могучего взрыва звуков.

Замерло сердце и похолодели руки: я не знала этой песни, я не знала, что могут быть такие аккорды человеческих голосов, я не знала, что человечество так прекрасно.

Я робко глянула на стоявшую рядом со мной Марину и должна была закрыть глаза пред этим прекрасным гордым лицом.

Почему пред моими опущенными веками вдруг встало видение бледного, истощенного лица в ранних морщинах, с преждевременной сединой в поредевших белокурых волосах?..

— Садись! — дернула меня за платье Марина, и я машинально опустилась рядом с ней на скамью. Странное видение уплыло в тумане.

Я оглянулась кругом. Взволнованные, радостные лица, потоки лучистого голубого света сверху, на трибуне высокий, с серебряной гривой волос на голове, старик.

Праздник освобождения Европы!

В глубокой тишине, при напряженном внимании многотысячной толпы заговорил Лев.

Каждое слово свободно доходило до самых дальних рядов слушателей, благодаря усилителям, поставленным на трибуне.

Он говорил о значении праздника, о великих и прекрасных возможностях, которые вставали теперь перед свободным человечеством.

Труд перестал уже быть проклятием человека, а становился любимым занятием, без которого день был бы слишком долог и удовольствие отдыха потеряло бы всякую цену. Всякий здоровый человек до сих пор был обязан работать шесть часов в день. Но уже вырабатывался проект, по которому рабочий день уменьшался на один час, а обязательный двухмесячный отдых увеличивался еще на месяц.

„Несомненно, — говорил оратор, — что к столетнему юбилею, благодаря развитию техники, получившему сильный толчок десять лет тому назад, обязательные рабочие часы будут совсем отменены, и человечество станет работать для радости творчества. Многие трудности и неудобства некоторых производств исчезнут, и труд

станет таким же наслаждением, как чтение или прогулка.

„Исчезнут также, благодаря великим завоеваниям науки, и те болезни, которые нам не удалось еще искоренить и которые являются печальным наследством проклятого строя, отравившего кровь целому ряду поколений. Да, это будет.

„Настанет прекрасная пора, о которой наши предки могли только догадываться. Вы же увидите ее воочию, как вижу я сейчас моими старыми глазами вашу теперешнюю жизнь, которая людям моего времени казалась прекрасной мечтой.

„Бесконечны достижения свободного человечества и неисчерпаемы возможности радостей и красоты вселенной. Я знаю это потому, что видел прошлое, вижу настоящее и предвижу будущее народов Европы.

„И для того, чтобы вы знали это так же хорошо, как и я, а также для того, чтобы ваши дети знали прошлое теперь свободных народов и умели ценить завоевания героических борцов прошлого, я расскажу

вам о том, что было десять лет тому назад и много раньше".

Старик смолк и уселся на конце трибуны, отдохнуть перед длинным повествованием.

Погас свет, и зал окутался прозрачными сумерками, в которых светлым квадратом выделялась стена позади трибуны.

„Экран!" — сообразила я и обратилась к Марине.

— Мы увидим прошлое на экране, не правда ли?

— Да, — ответила мне вполголоса Марина, — но сначала, пока Лев отдыхает, будет обозрение дня. Смотри!

На экране блеснул и пробежал искрой свет, и вдруг сзади за трибуной я увидела быстро проходившую толпу народа со знаменами, плакатами, статуями и портретами. В тот же миг зал наполнился вихрем голосов, восклицаний, пения.

— Узнаешь? Москва празднует, — прокричала мне на ухо Марина, — сейчас они будут у Великого мавзолея.

Снова блеснула искра, смолкли голоса, и я увидела за трибуной грандиозное со-

оружение из гранита и стали, в центре которого возвышалась колоссальная статуя человека с таким знакомым мне обширным лбом и чуть прищуренным глазом.

— Ильич!—воскликнула я, и сердце мое горячо забилось.

Стройно проходили бесчисленные колонны за колоннами пред Великим мавзолеем, склоняя знамена у ног вождя.

Опять блеснула искра, и опять гул толпы, как грохот далекого морского прибоя заполнил зал.

— Смотри, смотри!—кричала мне на ухо Марина,—это итальянцы, как красиво! Это Неаполь, я там отдыхала в прошлом году. Ах, как там хорошо!

Цветная, яркая толпа прошла мимо трибуны, приветствуя праздник народов. И опять блеск искры, на миг молчание и сумерки, и опять новые толпы новых народов, повсюду праздновавших великий день объединения трудящихся Европы.

Когда прошла последняя процессия, зал некоторое время оставался в сумерках и молчании.

Из угла трибуны раздался, громкий четкий голос старика с белоснежной гривой волос на голове.

Неторопливо, медленно, точно припоминая далекие, далекие времена, рассказывал он ловившей каждое его слово толпе о том, как жили и боролись люди нашего штата от первой революции до последних боев.

И по мере развития его рассказа на экране вспыхивали искры и отражались картины далекого прошлого. Я замерла, крепко сжав руки и впиваясь глазами в светлое пространство за трибуной, в прозрачной дали которого я снова увидела дни, уже мною прожитые... Когда?.. Почему так знакомо мне все это? Так понятно... Куда понятнее того, что сейчас окружает меня!..

Вот городской подвал, где по углам ютятся безработные, которыми кишели промышленные центры в годы царизма и массы которых держались еще и в первые годы после революции.

Вот курная изба крестьянина и двор его, залитый навозом, с рассохшейся телегой и корявой сохой в углу.

Вот толпы народа перед Зимним дворцом и неподвижные трупы убитых рабочих и их детей, слепо доверившихся царю.

Вот работа подпольных типографий, выпускавших листовки, объяснявшие рабочим и крестьянам, почему им живется так страшно тяжело, и учившие, что надо сделать для того, чтобы стало хорошо жить всем трудящимся.

Вот страшные ямы окопов, где заживо гнили солдаты, подневольные участники империалистической бойни, научившей солдат тому, о чем говорили рабочим листки подпольных типографий.

А вот и Красный Питер, бои на его широких прямых улицах. Митинг, невысокий, широкоплечий человек в картузе с хитрой усмешкой прищуренного глаза...

Победа... Красный флаг над Кремлем, где идут заседания первого Конгресса Коммунистического Интернационала, которым было заложено основание Соединенным европейским коммунистическим штатам.

Вот просторные, еще бедные комнаты детского сада и группы веселых, но бледненьких детей, на лицах которых лежит тень голода и страданий, пережитых матерями, за годы угнетения и непосильного труда...

Вот рабочий клуб, кружки политграмоты и рабочее собрание, где хмурый, неловкий пролетарий учится говорить на трибуне и управлять свободным государством...

Вот оборванные ряды голодных красноармейцев, защищающих освободившуюся страну от белых и иностранных войск.

А вот те же красноармейцы через пять лет, в светлой, чистой казарме, в чистой удобной одежде за учебой, и их вожди с ними.

Пробегает искра за искрой, и картина за картиной встает на экране.

Вот новый завод пущен в ход. Вот трактор в цветах, как триумфатор, въезжает в село.

А вот... а вот... женское собрание в деревенской избе: худые, костлявые, в серых зипунах и темных платках бабы, так непохожие на окружающих сейчас меня на-

рядных, пышащих здоровьем и красотой женщин. Но я их знаю, я их знаю, только не могу сейчас вспомнить.

Вон у стола смотрит плакаты высокая, пожилая женщина со строгим лицом. Рядом с ней синеглазая востроносая бабенка. А там у печки стоит возле зыбки женщина с преждевременными морщинами на землистом лице, с сединой в поредевших волосах... Я знаю, я знаю ее! Я сейчас вспомню, кто это!

И, сделав отчаянное усилие, я громко вскрикиваю:

— Марина!

— Я здесь, родненькая! — слышу я милый, ласковый голос и открываю глаза.

. . . .

В мутное оконце хлещет дождик, в утренней мгле я различаю широкую печку и возле нее теленка, который, скользя молодыми копытами, пьет молоко из рук Марины.

В зыбке плачет ребенок, и старшая девочка, отчаянно мотая косичкой, дергает зыбку за длинную серую веревку.